

The background of the entire page is a repeating pattern of red roses on black stems with green leaves. The roses are stylized with multiple layers of petals. A large red rectangle is positioned on the left side of the page, containing the text.

Н. Муратов
Д. Ларионов

Чумщск

Боженька из машины

Наиль Муратов

Чумщск. Боженъка из машины

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Муратов Н.

Чумщск. Боженька из машины / Н. Муратов — «ЛитРес: Самиздат», 2018

Два чиновника не то XVIII, не то XX века, поняв, что предыдущая жизнь их сложилась не ярко и не тускло, а как-то средне, решают стать театральными артистами. Нацарапав пару пьес в духе сентиментализма и продав несколько коров с подворья родителей для покупки кареты и реквизита, они отправляются в гастроль по таинственному господарству Шляпщина. Первый город на их пути – странноватый провинциальный Чумщск, в котором артистов принимают совсем не за тех, кем они являются...

От издателя

Весьма прискорбно, что факт издания сих записок оказался возможным лишь после смерти их автора. Более прискорбно то, что этого факта можно было избежать, согласись автор на публикацию нижеуказанной предваряющей справки, хотя бы минимально проясняющей важнейшую для читателя информацию относительно биографии главных героев повести. Однако автор, ратуя за скорейшую печать своего опуса, вместе с тем считал абсолютно неприемлемым для себя идти на такие компромиссы с издательством. Итог известен: при жизни выпуска своих записок достопочтенный граф Н. не дождался.

Проясним. Классическую историю принято начинать с описания характера главных героев и событий их жизни, предшествовавших основной фабуле, достаточного для понимания мотивов поступков персонажей, а также с целью пробуждения в читателе так называемой эмпатии, т.е. сочувствия. В случае же с Ободняковыми это крайне затруднительно, поскольку рассказывать о жизни и предыдущих деяниях господ автор записок не имел никакого рвения, тем более – наотрез отказывался помещать эту информацию в текст повести. Чего уж тут говорить, если даже природа буквосочетания «бр.», бывшего частью псевдонима господ, так и осталась неизвестной (против расшифровки оной как «братья» автор даже и негодовал).

Разгадка этого упрямства, как кажется, заключена в однажды брошенном графом Н. вопросе: что-де даст читателю знание «из какого сплаву и на какой наковальне выделана игла, ежели единственно важное для внимания заключается в том, что она уже начала свое неизбежное верчение вниз по натянутой наклонно нити?» Это крайне спорное, особенно для авантюрной беллетристики (как бы автор не настаивал на том, что изображенное в повести – «правдивей правды») утверждение дает основание полагать, что граф Н. относился к известного рода убежденным фаталистам, чьих взгляды о подверженности человека воле фатума распространяются на области жизни настолько далеко, что наносят каким-то из них непоправимый ущерб.

Так и здесь: своим упорством граф Н. обрек пребывать не лишённые литературного таланта, хотя и до известной степени наивные по части заимствования авантюрных сюжетов, записки о путешествии Ободняковых мёртвым грузом в так называемом «редакторском портфельчике» – которые и выбросить жалко, и издавать запрещено, что называется, аксиомами книжного рынка.

Время расставило всё на свои места. Автор категорически отказывался менять в тексте повести хоть что-то, но при всём этом, последняя воля графа Н. относительно пользования *произнесенными им словами*, неизвестна. Поэтому мы, уповая на благосклонность читателя, полагаем своим издательским долгом пойти на известный компромисс: опубликовать сии загадочные записки без внесения корректур, предварив, однако, оные куцыми биографическими данными о главных героях, которые нам посчастливилось почерпнуть из устных разговоров с автором.

Известно, как уже сказано, крайне мало, но для доведения до определенной степени внятности мотивов – а именно, для объяснения сущности толчка, направившего героев по столь шаткому пути передвижных артистических служащих – этого вполне хватает.

О степени родства и времени знакомства наших героев не известно ровным счетом ничего и домыслы на этот счет мы опускаем. Обоим на момент начала «гастроли» уже за сорок. Мужчины, конечно, не молоды, но и далеко не старики. Они ведут, что называется, обыкновененькую жизнь чиновничьих служащих. В свое время каждый из них отучился в гимназии не то чтобы хорошо, но и не сказать, что плохо. Маменька их любила, но и баловать особо не баловала. В делах амурных звезд с неба никто из них не хватает, однако ж и не жалуется на отсутствие внимания противоположного пола. В вопросах религии от них не замечается ни особого рвения, ни еретического отрицания. В солдатах никто из них не служил – один по причине желудочных расстройств, другой – удачно симитировав сумасшествие.

И вот, господа вдруг как-то вместе начинают сетовать на то, что всю жизнь всё, что бы ни происходило с ними, имеет приставку «полу-». Поняв, что предыдущая жизнь их сложилась не ярко и не тускло, а как-то средне, они решают сделать по их мнению то, для чего очутились на этой земле. Но как? Здесь то и обнаруживается обоюдная тяга друзей к театральному делу и словесности, равно как и к путешествиям в стиле «авэнтюр» (хотя оных до сей поры вовсе не было).

Нацарапав пару пьес в духе модного о ту пору сентиментализма, герои зачитали одну в салоне известной в богемных кругах госпожи Шпиль-Кульмановской. Вещица, благосклонно было воспринятая публикой, в итоге оказалась нещадно разнесена и осмеяна знаменитым артистом, постановщиком и теоретиком театра Гогунским. Оттудова же, поговаривают, и пошло гулять в народ в отношении романтических, оторванных от реальности и вместе с тем простоватых натур прозвище «лапотные донкихоты». К чести наших рыцарей, горевали они недолго, а, вооружившись скромными навыками, полученными в самодеятельных драматических кружках, решились-таки на нижеприведенную «гастроль» с этой самой пьесой. Притом известно, что для покупки транспорта и некоторого театрального реквизита, а также для найма извозчика, одному из господ пришлось продать несколько коров с подворья своих уважаемых родителей.

Засим мы оставляем читателя наедине с записками графа Н. в их первоизданном виде.

А.Волосьев

I

По главной улице небольшого города Чумщска чинно ехала старенькая рессорная карета, в каких обычно передвигаются извозчики или люди скромного достатка. Поверхность брички когда-то была выкрашена в зеленый цвет, но время и переменчивая погода этих мест взяли верх над косметическими ухищрениями: дерево сохлось, отчего все скрипело и тренькало, краска облупилась, обнажив коричневые язвы транспортного средства. В бричке сидело двое. Немолодые уже люди, примерно одинакового возраста. Однако, пожалуй, один выглядел чуть старше: из-за морщин около рта, едва скрываемых жиденькой бородкою, легкой полноты и седин, пробивавшихся в корнях крашенных черною краской волос. Второй отличался от своего попутчика тем, что был несколько тоньше в талии, седины не скрывал и имел тоненькие черные усики. За каретой увязалась тощая дворняга и лениво брехала на извозчика. Сидели пассажиры молча, в полусне платками смахивая с сальных лбов капли пота.

Приезд в город двух незнакомых мужчин не произвел на граждан никакого фурора, лишь проходившие мимо мужики печально глянули на расшатанные колеса брички, и ничего не сказав нырнули в подворотню. Да еще местный сумасшедший, испугавшись лошадей, отскочил в сторону и, дразнясь, крикнул им вслед: «Несёсья к чудесам Господним, шельма?»

Когда свернули на улицу с булыжной мостовой, карету начало потряхивать, отчего квелие до этого путешественники оживились и даже сделали по глотку из походной фляжки.

– Думаю, прибыли. Поздравляю-с, – простуженно сказал Крашенный.

Его попутчик отозвался на редкость красивым бархатным голосом, никак не подходившим к его измученному жизнью и дорогой лицу:

– Да, вот и постоялый двор. Позвольте и мне вас поздравить, коллега! Сегодня, пожалуй, и к смотрителю успеем.

Пока извозчик выволакивал из кареты багаж, а его оказалось на удивление много, господа принялись разминать конечности: путешественник с усиками стал резко выбрасывать ноги, словно пытаясь пнуть кого-то невидимого, при этом он издавал неприличные звуки, какие можно услышать только в хорошо натопленной бане или в других общеизвестных местах. Из-

за этих звуков в окнах соседнего доходного дома замаячили головы любопытных жильцов, которые, как известно, страсть как любят всякую диковинку. Крашенный же уцепился за крышу кареты и висел на ней как груша. Из-за своего большого роста вытянуться во всю длину у него не вышло, поэтому он согнул ноги в коленях, но, даже несмотря на это, его выдавшие виды брюки покрылись серой пылью и всякой другой дрянью.

Из гостиницы вышел слуга. Лицо его говорило о том, что работы обычно у него бывает мало, но жалование он получает в срок и питается по расписанию. Даже не поприветствовав странных господ, слуга нехотя схватил два огромных чемодана искусственной кожи, и, волоча их по пыльной земле, двинулся к гостинице. Уже у самых дверей, словно вспомнив что-то важное, он лениво кинул:

– Обед вы уже проманкировали, ужинать обычно к восьми изволят. Первый этаж. Хозяйка почки будут подавать.

Необычное слово «проманкировали» было сказано с такой интонацией и прозвучало до того хлестко, что даже извозчик, привыкший за свою нелегкую жизнь к крепким выражениям, уважительно крякнул.

Бесцеремонным образом ударив чемоданом в дверь, слуга за ней же и скрылся. Извозчик, видимо из благодарности за пополнение своего словарного запаса, тоже схватил часть поклажи и кинулся следом.

– Там же хрупкая бутафория! – возмутился Усатый, такому обращению с поклажей. – Аккуратней, господа! – прокричал он уже скрывшимся за дверью слуге и извозчику.

– Я ощущаю стойкий аромат успеха! – сказал Крашенный, и, спрыгнув с кареты, принялся ладонями стряхивать пыль с брюк, – да-да! Его ни с чем невозможно спутать!

Усатый брезгливо повёл носом и, учуяв действительно что-то стойкое, поморщился. Однако смолчал и продолжил выделывать замысловатые фигуры ногами.

– Ах, какой восхитительный приём состоялся в имении вашей уважаемой матушки! Как они нам рукоплескали! Вам не кажется, что это была исключительная, неопровержимая и безоговорочная победа? – продолжил Крашенный, не обратив на гримасу напарника ровно никакого внимания.

– Не кажется. И исключительно потому, что есть во мне врождённое свойство не строить химер относительно происходящего и воспринимать мир таковым, каковым он является, – сказал второй, не переставая брыкаться, – это был провал. Если бы не мадера из подвалов моей маменьки, быть бы нам освистанными.

– Ну, положим, и не мадера вовсе, а массандра, – ехидно ответил Крашенный, – ну а то, что нам удалось увлечь эдакую толпу народа? Это вам не видится заслугою нашего мастерства?

Усатый закончил упражнения и принялся восстанавливать дыхание, возводя руки кверху и плавно их опуская.

– Как я погляжу, вы массандрой моей маменьки тоже не брезговали-с. Иначе б вы не стали называть толпой восемь человек. Ах, как я мог упустить дворового пса! Как там его? Кабыздох, если память не играет со мною злую шутку. Уж он-то рукоплескал. А если брать в учёт, что управляющий и возница были мертвецки пьяны, то остаётся шесть человек и вшивый пёс. Прибавьте к этому глухого на оба уха батюшку моей кухни, да ребёнка двух лет, останется четыре – вот уж действительно аншлаг. Вы свежих газет ещё не приобретали, не пишут ли чего о нашем минувшем триумфе?

Несмотря на язвительность напарника и явные доказательства неудачного выступления, Крашенный нисколько не смутился. Даже наоборот, хлебнув из фляжки, он радостно прищурился и сказал:

– Экий вы нюня, братец! Не замечаете собственного величия и таланту. Но ничего этот город вас разубедит! Тут всё дышит большими свершениями и славою, ничто не сможет нас остановить на нашем пути к...

Договорить Крашеному не дал слуга, высунувшийся со второго этажа:

– Белье не просохло еще! Вам сырое постелить или подождете, когда подоспеет?

Крашенный задрал голову, придерживая рукою цилиндр и прокричал:

– Насчет постели можете не беспокоиться, у нас все свое!

Второй тоже задрал голову и поинтересовался:

– А как у вас на предмет клопов и прочего... афелинуса?

– Известно как, – пробурчал слуга и скрылся в окне.

Когда остатки багажа доставили в номер (он оказался двухместным), господа не снимая ботинок, легли на незастеленные кровати, стоявшие друг напротив друга.

– Чуть полежим с дороги, как завещали античные мыслители, а затем по чину полагается опись, – зевнул Крашенный.

Усатый заприметил на тумбочке газету.

– Свежая, – оживился он. – «Столичный листок». Так... Биржевые новости, пожалуй, опустим... – он полистал газету и перешел сразу к полосе культуры и происшествий. – Стрелялась мадам Ф... Так-так-так... О! – радостно воскликнул Усатый. – «Режиссер Гогунский готовит грандиозную постановку».

Крашенный приподнялся на кровати.

– ... «Знаменитый театральный постановщик и антрепренёр, держатель Народного театра на Лубне, г-н Аристарх Гогунский вознамерился ставить на морском побережье в курортном городке Ашкунь собственную пиесу, название и фабула которой держатся в секрете. По сведениям «Столичного листка», постановка ожидается с колоссальным размахом. Например, для сооружения сцены и декораций из Российской Империи специально закуплено и сплавляется мужиками по р. Испреть 30 тыс. кубометров первоклассной сибирской лиственницы. Персия поставляет для батальных сцен 250 голов чистокровных арабских скакунов... Из калмыцких степей выписан потомственный шаман, который научит артистов правильно аккомпанировать на бубне... Пиеса пойдет, вероятно, в первых числах августа».

– Однако-с!.. – присвистнул Крашенный.

– Ух... – восторженно проговорил Усатый и отложил газету.

Оба постояльца с тоскою взглянули на жалкий свой реквизит, что уместился в пяти дорожных чемоданах и нескольких подвязанных драгвой свертках. Помолчали некоторое время.

– Так-с, опись, – засуетился Крашенный. Он достал из походной сумочки огрызок карандаша, стопку желтоватых листов, взял один и уселся на облупленный табурет. Усатый раскрыл пыльные чемоданы. Пахнуло нафталином. Крашенный, нацепив на нос пенсне в роговой оправе, стал деловито зачитывать по бумаге:

– Фигура зеленщицы картонная – одна штука.

– Имеется, – отозвался Усатый. Крашенный послунывил карандаш и поставил галочку.

– Склянки стеклянные аптечные – девятнадцать штук.

– В наличии.

– Кинжал и ножны – одна штука.

– Есть.

– Гипсовый скелет крокодилуса.

– Присутствует.

– Чугунный котел для зельеваренья.

– Не позабыли.

– Ветошь пересчитывать будем? – с тоскою спросил Усатый.

– И не заводите впредь этого разговору! – пожурил Крашенный.

– Драный тулуп.

– Есть.

- Носовой платок, испорченный молью.
- Сохранился.
- Что и носки пересчитывать? – вновь не выдержал Усатый.
- Не умрёте, – безучастно ответил Крашенный.

Вскоре с носками, стреляными гильзами, перчатками без пар, париками, накладными бородами, пузырьками, свертками и прочей бутафорией было покончено и господа соизволили оглядеть доставшиеся им нумера.

В комнате имелся стол с неработающей лампой, шкаф без одной дверцы, внутри шкафа притаился оставленный кем-то драный ботинок рыжего цвета. Обои к вящему удивлению господ оказались новыми, но в некоторых местах они были поклеены криво, отчего то тут, то там на стенах можно было увидеть выглядывающие газетные обрывки. На некоторых из таких особенно больших островков безалаберности можно было прочесть даже и целые заголовки:

«Ремонтъ бань Н.И Степаненко ЗАКОНЧЕНЪ», «Эксъ-милліонщикъ изыскиваетъ таланты въ области химіи. Лженаука или новые открытія?» , «Паденіе межпланетнаго снаряда» и другие.

Еще в комнате имелось два стула, на которых уже покоились пыльные цилиндры путешественников. В углу стояла тумбочка, в которой обнаружился огромный полудохлый таракан.

- Вы как насчет бани? Не желаете ли-с? – спросил Крашенный.
- А разве это можно устроить? – отозвался бархатным голосом Усатый, – это оказалось бы весьма кстати.

- Нужно будет у слуги спросить. Как там его зовут? – поинтересовался Крашенный.
- Не знаю, он не представлялся. Но думаю Филимон, – уверенно предположил Усатый.
- Почему же именно Филимон? – удивленно спросил Крашенный.
- Похож больно, идет к нему это имя, – неопределенно сказал Усатый.
- А по мне так он больше к Василию тяготеет.
- Весьма спорное утверждение.
- Не изволите ли пари?

– Я весь к вашим услугам! Только необходимо оговорить условия! – оживился Усатый и даже приподнялся с кровати.

– В случае если он окажется Васей, вы прочитаете мне из записки, адресованной вам от N, – сказал Крашенный.

– Неприемлемо! Я вам её читал, а вы бессовестным образом осмеяли меня! Не бывать этому! – возмутился Усатый, густо покраснев.

– Если вы дрогнули пред честным пари, то не смею оказывать на вас никакого давления. Тем более что оно, может повредить вашу нежную натуру, – издевательски произнес Крашенный.

– Извольте выложить ваши новые ботинки против Филимона, – выкрикнул уязвлённый Усатый.

- Но они ведь вам будут малы! У нас разные размеры стоп! – хохотнул Крашенный.
- Ничего, я потерплю. Разносятся.

После недолгих взаимных препираний всё же вызвали слугу. Тот явился только через десять минут, с хмурым и приплюснутым выражением лица. Было понятно, что его оторвали ото сна. Хлебнувшие к этому времени из фляжки путешественники весьма порозовели и были настроены благодушно.

– А скажите нам, милейший, что ж ремонт Степаненковских бань и впрямь закончен? – издалека начал Крашенный.

- Года полтора как. Но не советую вам, – недовольно отозвался слуга.
- Это почему же так? – заинтересовался Усатый.
- Неприятности там происходят. Люди нехорошие обретаются.

По всему было видно, что слуга чего-то не договаривал и явственно юлил.

– Ну а если, предположим, мы сами из того же разряда... эм... лихих господ? Чего же тогда? – продолжал допытываться Усатый.

– Дело ваше. Я свое слово сказал. Только вы не очень-то похожи на лихих, если откровенно.

– А на кого же мы похожи? – настаивал Крашенный.

– Ясно на кого: на артистов или художников.

– А что много таких у вас в городе бывает? – осторожно поинтересовался Усатый.

– Заезжали-с.

– Ну, допустим. А ты нам лучше вот чего скажи, как тебя звать-величать, мил человек? – последнюю фразу Усатый произнес на старорусский манер, на что слуга обиделся и ответил:

– Как угодно, так и называйте. Мы люди не горделивые, а если мамка Филей назвала, так в этом моей вины нисколько и нету, а насмешек я сносить не стану, – слуга капризно выпятил нижнюю губу и добавил:

– Ужинать к семи подадут, извольте не опаздывать, опять проманкируете все.

– Ага! – довольно крикнул Усатый, обрадованный своей победой.

– Скажите, Филимон. А имеется ли у вас хоть какое-то сносное образование? Научены ли вы чтению или письму? Умеете ль танцевать или складывать поэзию? – спросил раздосадованный своим поражением Крашенный.

– А какое это имеет отношение? – Филимон густо покраснел и нервно добавил, – Вы часом не полицейские? Только прибыли и моментально допрос учинили.

– Не огорчайтесь, мой юный друг. Мой коллега нисколько не хотел ранить вашей тонкой души. А справляется насчет вашего образования только по одной причине – мы заинтересованы в способных молодых людях, – сказал Усатый.

Филимон покраснел ещё гуще.

– Если вы по этой части в город прибыли – то не советую вам. У нас в Чумщске такое не заведено. А если вы станете с таким вопросом приставать к сиротам – то не ждите народного одобрения. Нехорошо это.

Кончив, слуга развернулся и вышел вон, не удосужившись даже прикрыть за собою дверь.

– Чего это он? Неужто обиделся? – спросил Крашенный.

Довольный Усатый вынул фляжку и рюмки, налил коньяку.

– Ну-с, за пари – самое удачное изобретение человека прямоходящего!

Когда чокнулись и выпили, Крашенный поглядел в окно. Филимон у брички разговаривал с ободняковским кучером, с уязвленной миной косясь в сторону номеров.

– Точно сказать сложно. Вполне может статься, что таковы местные нравы. Предлагаю впредь не пытаться влиять на окружающую нас действительность, а стать, как бы это выразить, наблюдателями, слившимися с местными декорациями.

– И то верно. А то мало ли что на уме у этой публики.

До ужина оставалось несколько часов и путешественники решили обустроить кое-какие дела, а вместе с тем и осмотреть город.

– Заодно и новые ботиночки разношу, – довольно промурлыкал Усатый, на что Крашенный поморщился так, словно съел ведро испорченной брюквы.

II

Городок Чумщск был известного рода: главная улица – версты едва ли три в длину, сплошь состоящая из пологих подъемов и спусков – к которой вразной жалась дюжина узких кривых и пыльных улочек, лишь кое-где, кажется, в самых неожиданных местах, мощеных скверным булыжником. Дома были по большей части деревянные, с обшарпанными, увитыми плющом невзрачными террасками, растрескавшимися наличниками и ржавыми флюгерами-петухами на коньках крыш. Вся эта нехитрая декорация, как и водится в тех местах,

утопала в зелени вековых деревьев так, что в солнечный день пройти и с десятков шагов по любой из улиц, не попавши в густую тень, было крайне затруднительно. Над городком царил долгая гряда Дьявковых гор, – темно-зеленая, в иглах сосен, походящая на распластавшегося щетиного аллигатора и окруженная синеватой дымкой. Этого аллигатора – если приглядеться – пронзал высочайший в стране и сотни раз воспетый местными пиитами пик Шядищева.

Туда-то с интересом и поглядывали, задравши головы и поминутно икая, наши господа, стоя на центральной площади городка в сени старого ясеня. Испивши чуть ли не по пять стаканов из приключившегося поблизости аппарата с газированной водою, они выглядели изрядно посвежевшими; костюмы их были старательно вычищены от дорожной пыли, лишь обувь, даже после небольшой прогулки, в силу вышеозначенных причин, имела крайне удручающий вид.

– Ах, негодяйство! – с досадою оторвался от разглядывания гор Усатый, сел на корточки и принялся энергично оттирать носовым платком свои новые лаковые туфли. – И откуда, интересно знать, в горном городишке так много пыли? Завозили, чтоль, ее сюда? Куда, спрашивается, смотрит власть? Почтенному господину здесь моцион позволителен разве что только на ходулях.

Крашенный тоже перестал глядеть на горы и, ослабившись на слова Усатого, озирался теперь вокруг в поисках предмета для рассматривания. Наконец его взгляд остановился на криво приклеенной к деревянному забору афише. Несколько секунд Крашенный рассматривал её, затем удивленно присвистнул и сказал:

– А как вы находите это?

Усатый тут же отвлекся от своих ботинок и поднял взгляд на объявление. Там красными, изрядно уже выцветшими буквами значилось:

БРЪ. ОБОДНЯКОВЫ

«ИНСЕКТЪ»

Піеса-дуэть съ превращеніемъ, псевдо-буффонадой и неожиданной развязкою. Играютъ авторы. Всего одинъ вечеръ!

Большая лѣтняя гастроль изъ Чумщска в Ашкунь.

Венчала данную надпись фотографическая композиция, на которой с трудом – вследствие крайней небрежности расклейщика и плохонького качества краски – но всё же узнавались оба наших господина. Один, Усатый, присел будто кузнечик, расставив наподобие крыльев в стороны свои руки, другой же, в пышном до безвкусия платье дворянина, в напудренном парике, лежа, балансировал на спине первого. Оба с вдохновенными и вместе с тем трагическими лицами смотрели прямо в объектив фотоаппарата. В довершение ко всему, к лицу балансирующего чьей-то проказливой рукой углем были пририсованы длинные неровные усища, а на пустом пространстве афиши было приписано неприличное слово, относящееся, похоже к изображенным лицам.

– С краскою, конечно, халтура, – озадаченно сказал Усатый, поднимаясь с корточек. – Един дождь – и швах, амазонскія разливы. Я говорил, не нужно было скупиться на типографию.

Крашенный внимательно вглядывался в афишу.

– Это кощунство! – произнес он наконец. Он огляделся и, не обнаружив рядом никого, кроме дремлющего поодаль у раскрытых ворот своей мастерской загорелого до черноты бондаря, да пары квѣлых старушек, продававших на торговых рядах яблоки, подошел и принялся с остервенением сдирать объявление с забора.

– Ну полноте, – попытался остановить его Усатый. – Что ж вы здесь вандалничаете? Так и к городовому на снурок попасть плѣвое дело...

– Фи! – грубовато бросил Крашенный, не умерив пыла. – Тут надобно под стражу отдавать других.

Наконец, он расправился с афишей, старательно её скомкал и метнул через забор.

– Ну и что же, – с неловкой улыбкой сказал Усатый. – Теперь изволите все заборы в городе прополоть?

– А хотя бы и так! – ответил, отдуваясь, Крашенный. – А вам не огорчительно за такой анонс? – он тряхнул шевелюрой. – Медвежья услуга. Нужно немедленно идти к театральному зрителю для серьезного разговора. За такое неустойку следует платить.

– Ну это вы горячитесь, – отвечивал Усатый.

– И всё же, – не унимался Крашенный.

Усатый извлек из кармана жилета позолоченные часики.

– Да ведь нам и не назначено на такую рань, – взглянув на циферблат, сказал он с некоторой тревогой. – Айдайте для начала в кабачок заглянем. Закусим по мелочи, а потом порешим.

Было видно, что Усатый не хочет пропустить гостиничного ужина.

– Нет уж, я ему выскажу решительно всё, – продолжал стоять на своём Крашенный. – Плебейские нравы, скажите на милость. Один, значит, этот Филимон, с хрупкой сценической бутафорией – как с мешком овса, другой пишет скверности, – Крашенный прямо таки побагровел лицом.

– Право, уймись, – сказал Усатый. – Это инфантильно. Ну нашебутил мальчуган какой-нибудь, свиненыш. Не повсюду ведь так.

– Неужто? – язвительно отозвался Крашенный. – И клеил, небось, тоже мальчишка? А это ведь центральная площадь. Бульвар. Сюда ведь и дамы по вечерам заглядывают, а мы висим, – он поводил ладонью у лица. – Стыдно сказать...

– А, так вы об этом! – рассмеялся Усатый. – Ну, так дамам совершенно никакого дела... – он немного удивленно посмотрел на спутника. – Да вы ведь с такими настроеньями далеко не уедете, друг!

– Далеко – не далеко, и всё же я настаиваю идти к театральному зрителю сию минуту, – решительно сказал Крашенный. – Там и накормимся.

Уездный зритель училищ и изящных искусств города Чумщска оказался немолодым уже немцем с акцентом, рыхлым телом и длинными неухоженными бакенбардами, до странности похожими на болоночьи хвосты. Звали его Генрих Алексеевич фон Дерксен. Он с широкой и вместе с тем как будто виноватой улыбкой встретил наших путешественников в гостиной своего крепенького белокаменного дома, сунул каждому для рукопожатия мягкую и мокрую, словно рыбина, руку и затем, наскоро, явно конфузясь, пригласил господ пройти в кабинет. Из столовой доносился звон посуды, женский залиvistый смех (при нём фон Дерксен морщился как от зубной боли), и такой одуряющий аромат мясных блюд, что у не евших с раннего утра путешественников призывно заурчало в животах.

– Bitte, bitte, – открывал перед гостями дверь фон Дерксен и рукою вытирал мясистые губы. – Мы здесь кушали и, признаюсь, совершенно не ожидали.

– Едали? – уточнил Крашенный, жадно поводя ноздрями. Он с самого начала встречи хранил суровый вид. – Телеграфировали вам третьего дня на предмет пьесы. Хотелось бы узнать, готов ли зал?

– Готов, готов! – пройдя в недурно обставленный кабинет и крепко закрыв за собою дубовую дверь, фон Дерксен указал на большой кожаный диван, стоявший в углу. – Господа, прошу вас, setzten, садитесь, садитесь пощалуиста.

Гости сели – Усатый чинно, с краю, а Крашенный нарочито вальяжно развалился на диване, без спросу закурил папироску и сидел, насупившись, не обращая внимания на многочисленные взгляды своего спутника.

– Господа, я прошу вам прощения, – начал фон Дерксен, усаживаясь в кресло, стоявшее рядом с заваленным бумагами письменным столом. Он немного помедлил – Три недели назад отошла ко Господу моя дорогая супруга, моя Марта, – он указал на теплящуюся в углу на

полке в окружении нескольких деревянных икон небольшую лампадку красного стекла. – И я порой, сказать, совершенно не помню себя от печали. Эммм... Не могли бы вы так любезными напомнить, какой честью вам обязан? Вам назначено-с? – с этими словами фон Дерксен сделал старческое выражение лица и странным полубезумным взглядом посмотрел на гостей.

Крашенный споро выпустил дым сквозь ноздри – в сем жесте наблюдалось едва сдерживаемое возмущение, – к Усатому же вернулась икота: он ошалело икнул и круглыми глазами уставился на господина зрителя. В воздухе повисла пауза и продолжалась ровно до того момента, когда Усатый вновь громко издал мучительный утробный звук. В этот самый момент Крашенный брыкнулся на диване, отчего обронил пепел с сигарки себе на брюки. Он выпрямился и несколько обиженно начал:

– Позвольте, господин зритель. Мы, коли так, отрапортуемся: Ободняковы, артисты. Третьего дня телеграфировали вам на предмет собственного пера пиесы, которую и договорились играть дуэтом на данных, так сказать, подмостках. Со стороны вашего личного секретаря г-на Г.Н.Пичугина был дан одобрительный вердикт, от нас – курьерским препровожден контракт вместе с пачкою афиш. Таким образом, на завтра значится представление: Центрально-Садовый театр, девятнадцать ноль-ноль.

– Вердикт был выдан, – сочным голосом подтвердил Усатый.

– А... правда? Натюрлихь? – удивился фон Дерксен. – И письмо, стало быть, высылали? Тысячу извинений! Дело в том, что город наш дурьх... эээ... проезжий, перекладной, обретаець всевозможные лицедеи, клоунада, шулер, – он рассмеялся, но тут же спохватился и, молитвенно сложив ладони вместе, протянул их к гостям: – Я прошу, извините, извините, это совершенно не вас! Совершенно фигурально! – он посерьезнел, склонился над письменным столом и, поминутно слюнявя палец, принялся сосредоточенно перебирать бумаги.

До гостей, сидящих теперь чинно и ровно, с минуту доносилось приглушенное «айнц, цвай, драй...», еще какие-то неразборчивые немецкоязычные бормотания, затем фон Дерксен оторвался от бумаг и почти весело посмотрел на гостей.

– Похоже, что решительно ничего нет, – сказал зритель и пожал плечами. – Вы, стало быть, уверены за высылку контракта?

Вконец раздраженный внезапным недоразумением и настойчиво пробивающимися сквозь двери запахами мяса с луком, Крашенный нарочито высоким тоном отозвался:

– Я извиняюсь. Каковые могут быть шарады относительно нашей натуры? Извольте послать за вашим секретарем для немедленного прояснения. Мы никак не гистрионы или что подобное, – Крашенный поджал губы. – А что ни на есть артисты столичной школы и представляем новую передвижную драму. Которая, попрошу заметить, опирается на наследие выдающегося Евструшина.

– Как? Евструшина? – изумился фон Дерксен. – Действительно... Дафайте я сейчас...

Зритель изящных искусств взял со стола небольшой бронзовый колокольчик и позвонил. Вошел секретарь фон Дерксена с лицом истощенным и желтым, словно репа.

Из-за дверей снова раздался тонкий женский смех. Секретарь робко оглянулся и густо покраснел.

– Запрашивали? – поинтересовался он у Дерксена выхолощенным голосом.

– Гаврил! – обрадовано воскликнул зритель. – Была ли от господ... – он осёкса и посмотрел на посетителей.

– Ободняковых, – отозвался красивым баритоном Усатый.

– Да! От господ Оби... няковых были ль какие-то бумаги на днях?

– Были, – ответил всё так же безучастно секретарь, не глядя на гостей, затем развернулся и молча вышел вон из кабинета.

– Ах, простите! – вновь воскликнул фон Дерксен. – Здесь, стало быть... – он грузно поднялся из-за стола, одарив сидящих лукавым взглядом, и на цыпочках выскочил вслед за секретарем.

– Чёрт-те что, – сказал Усатый, а Крашенный несколько раз попеременно закинул одну ногу на другую.

Не прошло и минуты, как в комнату ввалился смотритель, держа в руках бумажку, и с порога почти что закричал:

– А договорчик-то у вас и недействительный! – здесь фон Дерксен так громко расхохотался, что в трюмо стала позванивать посуда. Лицо его побагровело, нос налился сливою, а болоночьи бакенбарды затрепыхались в разные стороны.

Гостей словно перешибло. Наконец Усатый кое-как совладал с собою, приподнялся на диване и выдавил:

– Это как значит недействительный? Разрешите... полюбопытствовать...

– Наплюдается кое-что, – сказал фон Дерксен и весело, с лукавинкой, подмигнул господам, словно бы в сей новости содержалось что-то весьма для них радостное.

– А вот извините, конечно! – Крашенный почувствовал, что в такой своеобразной ситуации есть смысл попытаться действовать несколько нахрапом. Он встал: – Я и мой коллега вас решительно не понимаем. В контракте всё, что касается юриспруденции, не говоря – по нотариальной части-с... – он не выдержал и смешался.

В кабинет беззвучно, словно тень, вошел желтолицый секретарь. Вид у него был расхристаный, довольный и отчего-то виноватый.

– Дело в том, что вместо гербовой печати здесь, – он взял у продолжающего странно улыбаться фон Дерксена лист и показал гостям, – экслибрис.

Гости в смятении склонились над бумагой.

– Плохо видно, – сиплым голосом произнес, наконец, Крашенный, осторожно отдаляясь от документа. – Нет ли у вас воды? – он порыскал глазами по сторонам.

Фон Дерксен едва слышно посмеивался.

Секретарь достал из кармана пинджака лупу и, наведя на буквы, безучастно процитировал:

– «Сия книга принадлежит к личной библиотеке Пр.Мельхиорова»

Господа стояли теперь, как оплеванные.

– Помилуйте. Двадцать с полтиной рублей – гранд-нотариусу, нотариальное бюро во Вьёце... – в волнении прервал молчание Усатый. – Здесь какое-то недоразумение...

– Сия бумага не по нашей части, – с готовностью поддержал его Крашенный.

– Ясно, что не по нашей, – согласился Усатый. – Не могли же мы...

– Однако ж подписи к документу нельзя обвинить в отсутствии подлинности, – сказал секретарь, убирая договор во внутренний карман. – К тому аферистов среди так называемых нотариусов весьма немало. Что оскорбляет профессию, – здесь губы секретаря дрогнули. – И ставит под удар закона невнимательных господ (здесь гости побледнели).

– Гаврил! – делано одернул секретаря фон Дерксен, схватив того за локоть. – Не промышляйте так! Это не нарочное с их стороны, вовсе не нарочное... – он повернулся к гостям и виновато развел руками. – Как вы понимаете, господа, никак не могу по недействительному контракту. Я есть подневольная сущность, подчиняюсь Департаменту народного просвещения Шляпщины, что значит: равносильно высылке и каторге, – он затряс головою и вновь затрепыхались болоночьи бакенбарды.

Ободняковы стояли, понуриив головы, словно нашкодившие сорванцы.

– Но кое-что я имею вам предложить! – вдруг воскликнул уездный смотритель. Он быстро проковылял к столу и засуетился у ящичков. – Вот! – фон Дерксен достал из стола тонкую черную папку, кивнул секретарю.

Секретарь подошел к столу, коротко посмотрел в раскрытую папку и сказал управляющему:

– Если вы желаете.

– Токмо из доверия честным господам! – воскликнул фон Дерксен и замахал рукой Ободняковым: – Господа артисты, подходийте, пожялуйста! Подходийте!

Ободняковы быстро, в одну ногу, приблизились.

– Я очень почитаю искусство, – доверительным тоном сказал фон Дерксен. Над губой у него проявились капельки пота. – Более того – драма. И ко всему, вы упомянули... эмм...

– Евструшина? – с надеждой спросил Крашенный.

– Именно! Евструшин! Мне отчень по духу его наработки! – воскликнул фон Дерксен.

– Нам весьма льстит подобное отношение к мастеру, – внезапно отозвался Усатый таким красивым баритоном, что стоявший рядом желтолицый секретарь удивленно поднял бровь, а у фон Дерксена мигом выдалась испарина еще и на лбу. Крашенный же отчего-то с почтением поклонился господам.

– Я вижу: вы есть честные артисты, и не ваша вина, – сказал фон Дерксен, извлекая из папочки несколько листков бумаги. – Поэтому имею вам предложить данный Vertrag... эээ... грамоту, для содействия в устройении послезавтрашнего конферанса, – смотритель вытер губы ладонью и протянул Ободняковым листочки. – Здесь всё на взаимовыгодных началах. Гаврил.

– Аналогичный договор, – кисло объяснил секретарь. – На тех же условиях, только заказчиком старый театр, что на Грязнухе.

– Bitte, Центрально-Садовый тятра нельзя: санитарные работы, – извинительно пояснил фон Дерксен и посмотрел на секретаря, будто ища поддержки. Секретарь стыдливо отвёл взгляд.

– А прбцент? – несмело поинтересовался Крашенный, вперяя взгляд в документ.

– Мы согласны, согласны! – перебил его Усатый, притом отчего-то с явным немецким акцентом, будто подражая фон Дерксену. – По рукам!

Фон Дерксен причмокнул и, улыбаясь, полез за пером. Он поставил убористую подпись в уголку документа.

– Ваша очередь, – сказал фон Дерксен, но вдруг отложил перо. – Я прошу прощений, господа. Что за пиесу вы будейте играть?

– Драматический спектакль под заглавием «Инсект», – ответил Усатый.

– Собственной фантазии, – добавил Крашенный.

– О! – радостно воскликнул театральный смотритель. – Так стало быть, вы ставите конферансы о прогрессе естествознания?

– Никак нет, – сконфуженно сказал Усатый. – Насекомая особь – это лишь метафора, некоторый символ того, во что...

– Так о чём же? – перебил смотритель.

Усатый подумал и ответил многозначительно:

– Полагаю, о бессмертии – телесном и духовном – и вечном поиске любви.

– Ох, какая тонкая материя! – горестно сказал фон Дерксен. – Ах, слышала бы меня моя Марта! – он быстро глянул на лампадку в углу, затем вновь повернулся к гостям. – Но разве говорить о бессмертии – не прерогатива пасторов, спасителей наших душ? – даже немного с вызовом промолвил смотритель. – Откуда вам знать о загробном?

– Про космос имеется у вас? – внезапно спросил секретарь, глядя в окно. – Нынче в моде.

– Про космос нет, не пишем-с, – тушуясь, ответил Усатый.

– А сыграйте-ка! – воскликнул фон Дерксен, радостно хлопая в ладоши.

Ободняковы переглянулись.

– Прошу прощения? – промолвил, наконец, Крашенный. – Сыграть? Так вы, кажется, скажали?

– Да-да. Сыграйте, – повторил фон Дерксен.

Ободняковы переглянулись вновь.

– Мы вас решительно не понимаем, – сказал Усатый, оттягивая нижнюю губу. – Для пьесы нам надобен реквизит, грим. Да и место, надо сказать, не самое подходящее...

Фон Дерксен нетерпеливо всплеснул руками:

– Вы совершенно не понимаете! Где у вас в перформансе кульминация? Сделайте фигуру. Это ведь ничего, я всегда смотрю заезжих.

– Заезжих?.. Право, это унизительно... – едва слышно шепнул Усатый своему коллеге.

– Да, но мы на грани фиаско... – сдавленно отвечал ему Крашенный.

– Ну хорошо. Кульминация? – Усатый зашагал по кабинету, скрепив руки за спиной. – Скажем... – он воздел глаза горé. – Сцена объяснения барона с Жуком. Он убил бывшую возлюбленную инсекта, от ревности, будучи сам влюблен в неё, а теперь раскаивается. Жук ожидает смертного приговора. Барон проникает к нему в камеру и...

– Ах, дафайте! – в восторге воскликнул фон Дерксен.

Ободняковы обменялись короткими взглядами и враз изменившимися артистическими походками разошлись в противоположные стороны кабинета.

ФРАГМЕНТЪ ПЬЕСЫ БРЪ. ОБОДНЯКОВЫХЪ "ИНСЕКТЬ", ИГРАННЫЙ АВТОРАМИ ВЪ УСАДЬБЪ УЕЗДНОГО СМОТРИТЕЛЯ УЧИЛИЩ И ИЗЯЦНЫХЪ ИСКУССТВЪ Г.ЧУМЩСКА Г-НА ФОНЪ ДЕРКСЕНА

Жукъ сидитъ въ своей камерѣ и смотритъ на проникающій сквозь рѣшетку лунный свѣтъ.
Жукъ

Ахъ, божье ты свѣтило, что смиряетъ
всѣхъ буйныхъ, несогласныхъ и свирѣпыхъ,
мирящее оставленныхъ судьбою.

Ахъ, проводница духовъ и матерій,
символъ болезносвѣтый послесмертья!
Какой пѣть тебя не воспѣвалъ? Какіе
волхвы къ тебѣ съ молитвой не зывали?

Увы! И даже на тебя я нонче
надежды не имѣю, о, свѣтило!

Что такъ гнететь меня, отвѣть?

Скрыпить желѣзная дверь, въ камерѣ появляется Петерь. Жукъ встаетъ.

Жукъ (отстраняясь).

Ты?..

Петерь (опустивъ голову).

Онъ...

Тотъ самый, что лишилъ тебя свободы.

Жукъ.

Но какъ проникъ ты? И къ чему?

Петерь.

Пришель

я, чтобъ свершить ненужную надъ злой душою тризну.

Надъ злой и грѣшной.

Жукъ.

Не полно ль – когда

мнѣ кара однозначна и близка – еще
грозитъ инымъ?

Петерь.

Я мню себя. Тебѣ

съ разсвѣтомъ – въ міръ иной туда, гдѣ кущи
и ангелы, а мнѣ одно – печать,
подобна той, что Каину Господь
отмѣрилъ до скончанья міра...
Жукъ.
Никому
не вѣчно жить.
Петерь (бросаясь къ Жуку).
Прости меня!
Жукъ (закрывая лицо).
Простить Господь.
Удѣль у всѣхъ одинъ – и онъ извѣстенъ.
Въ земной юдоли счастья мало... Но Лусьень,
надѣюсь, счастливою будетъ. Пусть...
Пусть съ кѣмъ угодно...
Петерь (вскрикиваетъ).
Нѣтъ!
Жукъ.
Чего?
Петерь.
Я молвилъ: нѣтъ.
Поскольку, видимо, самими
такъ мойрами предсказано. И такъ тому и быть.
Жукъ.
Что мнишь ты этимъ? Не тyani, молю!
Петерь (отворачиваясь).
Одно. Лишивъ тебя надежды разъ, лишаю вновь...
Такъ суждено...
Жукъ (вздымая руки).
О, боги! Боги! Нѣтъ!
Какую мнѣ судьбину уготоваль судь!
Изряднымъ мнѣ животнымъ быть, питаться тлѣй,
губительство взводитъ на гречкую крупу.
Едва забрезжить солнце, выползаетъ...
– Гречка?! – не своим голосом заорал вдруг фон Дерксен, бесцеремонно прерывая арти-
стов. Он закатил глаза и мелкая дрожь прошла по всему ему телу.
Ободняковы в испуге завертели головами, не сразу возвращаясь от чар Мельпомены в
чиновничий кабинет.
– Как? Что там было? Гречневая крупа? – не унимался смотритель.
– «Питаться тлѣй, губительство взводитъ на гречкую крупу...» – повторил Усатый, кото-
рому было отведено исполнять партию Жука.
– Никак нельзя, – заключил фон Дерксен, передергиваясь.
– Да о чём вы толкуете, господин смотритель? – Усатый прямо таки остолбенел, как,
впрочем и его коллега.
– Довольно, – отрезал фон Дерксен. – Нельзя употреблять в пьесах о гречневой крупе.
Покуда я театральнѣй наблюдатель, не допущу.
– Но почему же?! – в отчаянии воскликнул Усатый.
– Имеется необходимость, – холодно сказал фон Дерксен и погрозил пальцем. – Нужно
заменить на овѣс.

– Позвольте, – едва не плача, отозвался Крашенный. – Я, будучи в правах автора, хочу заметить, что овёс никак не укладывается. В таком нюансе менее болезненно использовать манную крупу, – сказал он, дрожащей рукой приглаживая бородку и избегая встречаться взглядом с коллегой.

– Манную можно, – согласился фон Дерксен, подумав. – Манная – она ещё никому не вредила.

– Ну же, – неуверенно обратился Крашенный к коллеге после некоторой паузы. – Начи-
найте.

Усатый ладонью вытер со лба пот, и, воздев вверх руки, заголосил:

– О боги! Нет! Какую мне судьбину уготовал суд! Изрядным мне животным быть дано, питаться тлём, губительство взводить на... манную крупу. Едва забрезжит солнце, выползть на Божий свет...

– Эдакий этот господин оказался... – говорил Усатый внезапно потускневшим жалобным голосом, когда унижительная аудиенция была кончена, странноватый контракт (оказавшийся, к слову, на немецком наречии, совершенно не понятном нашим господам) подписан и подкреплён водкой “von der persönlichen sammlung” (сноска: “Из личной коллекции” (нем.)) и гости вновь оказались на улице.

– Возможно, ему по религии так следует, – сказал на это Крашенный, причем непонятно было, что таится под словом «так» – не произнесенное приглашение на ужин ли, или под-
сунутый немецкий формуляр, или странная затея театральных «смотрин» и цензурирования пьесы? А может, всё вместе?

– Водкой одарили... – задумчиво продолжал Усатый, переключая из руки в руку огромную бутылку с жухлого цвета этикеткой, на которой пляшущими, едва заметными буквами значилось: “Русаковская”. Сама мысль о поощрении творческого таланта спиртными напитками сейчас отчего-то была Усатому неприятна. Он с сомнением посмотрел на бутылку. – Неужто хороша? Ну ничего, в банях под обильную закуску будет в самый раз.

– Кстати о пище, – отозвался Крашенный, недвусмысленно косясь на водку. – Зря вы предложили эту сцену. Она затратна в плане калорийности.

– А вам всё же следовало напомнить зрителю о небрежности при расклейке афиш, – холодно заметил Усатый.

– Не поверите, совсем вылетело из головы, – отрапортовал Крашенный.

– Да я уж понимаю, – покачал головой Усатый.

– Клянусь, сударь!

Они медленно, в молчании побрели вниз по улице. Зной отпуская. Накатывались быстрые горные сумерки, обдавая город влажной свежестью. И вот уж – как это часто бывает в западных горных районах Шляпщины – безоблачное небо, весь день мучавшееся иссушающей и тягучей духотой, в каких-то десять минут заволокло тяжёлыми, растрёпанными, словно мокрая пакля мрачными тучами. И вот уж небесный кормчий, отославшийся днём на ледяных Дьявковых вершинах, принялся что есть мочи колотить в свои громогласные литавры. Сноп искр заполонили округу. Воздух насытился предгрозовыми сладкими флюидами. Стало накрапывать. Тугие дождевые капли глухо шлёпались в серую дорожную пыль, оставляя причудливые крапинки. Ободняковы прибавили шагу, но отнюдь не в сторону постоянного двора, где им приготовлен был ночлег. Кроны вековых деревьев предупредительно заскворчали на ветру, будто пытаясь вразумить наших героев: Куда же вы? Дождь собирается! Ночь грядёт! А вместе с нею сладкий покой, где добра и зла сливаются черты и смерть неотличима от рожденья. Спешите и вы, почтенные господа, в свои законные постели, кое-как утолив голод и жажду из пожитков, что сохранились в дорожной торбе. Помилуйте! Лъзя ли так испытывать судьбу? Не довольно ль на сегодня испытаний духа и тела?

Но нет, нет покоя нашим господам... Неистребимый дух авантюризма погоняет их вперед, и как будто слышится посреди суровых, неприступных горных скал непоколебимое: Лъзя! Лъзя! Лъзя!

III

Не придумало еще человечество места столь дивного, столь приносящего неземную уладу и дарующего возможность очиститься от грязи как мирской, так и духовной, как баня.

Баня! Нет слова, которое бы отзывалась такой палитрою чувств и эмоций, таким живым воспоминанием запахов и вкусов, такой какофонией звуков и мелодий в душе каждого человека, хоть раз ощутившего на себе все прелести её. Сколько чудесного рисуется пред умственным взором, какие обольстительные пейзажи предстают пред нами, стоит нам лишь услышать эти четыре буквы – баня! И нет на нашей прекрасной земле такого края, такого уголка, в котором не слышали бы и не любили бань. От славного Галикарнаса до Маньчжурского Мукдена, от египетского Мемфиса до индийского Хампи – везде поют славу храму воды и пара! Со всех четырех сторон нашего необъятного света доносится разноязыкое, но такое приятное и знакомое нашему уху: «А, ну-ка, братец, поддай-ка пару!»

Баню любят до того крепко, что каждый из нас готов выпрыгнуть из кожи вон, чтобы доказать чужеземцу свое право называться первыми по части изобретения бань. Загорелый араб до хрипоты спорит с носатым греком, вспыльчивый итальянец таскает за длинные усищи турка, русский в пьяном задоре тычет кулачищем в пуговичный нос китайцу, швед кричит что-то неприличное покрасневшему от конфуза финну, даже умиротворенный индус, позабыв про все заветы Шивы, плюет в харю японцу, и все для того, чтобы сказать: «Ты, голубчик, мне тут не финти – первую баньку у нас соорудили!».

Каких только страстей и диковинок не услышишь об устройстве бани, из чего их только не мастерят и не лепят: покрывают войлоком и шкурами убиенных животных, жестяною, составляют жердями и бревнами, мостят кирпичом и ветками, стелют полы каменные, деревянные и земляные и даже заливают их оловом и свинцом. А какие запахи томятся внутри! Травяные, цитрусовые, медовые, хвойные, хмельные, ягодные – да не хватило бы бумаги, перечислять их все!

Заходя уже в предбанник человек пьянеет, еще не успел он снять портков и выпить чаю со смородиной или смочить усы квасом, как уже чувствует кружение головы, приятное щекотание печенки и ласковое щемление в области сердечных мышц. Он чувствует себя причастным к чему-то магическому, недостижимому и сокровенно-глубокому. И глуп тот, кто лелеет надежду постичь нечто подобное вне стен этого храма. Вот он сбрасывает пыльные сапоги, срывает с себя нестиранную рубаху и штаны, изгвазданные гусиным жиром и рыбным соусом, вот летит комком в угол исподнее, сохранившее запахи всех его больших и малых недельных прегрешений. И вот, помолясь, человек шагает в парильню, где его тут же подхватывает поток оголенных лодыжек, ягодич и спин, тощих и округлых, угрожающих и вселяющих надежду, вот он уже не идет, а плывет среди бесконечного потока шаек и тазов, ковшиков и ушат, обдаваемый со всех сторон паром и крепким мужским словом. Хватается, в надежде задержать хоть на секунду животворящее движение, за веники и еловые шишки, цепляется за вехотки, мочалки и пяточные поскребки. Но не суждено сбыться его чаяниям, неумолимо его превращение в адепта воды и пара, теперь он не какой-нибудь Иван Трифонов, теперь он настоящий дикарь, первобытный человек, вместе со своим племенем совершающий ритуал, отплясывая портомойный танец перед пышущим жаром котлом и преклоняясь обмылкам и докрасна раскаленным камням.

Примерно в таких мыслях пребывали Ободняковы, споро вышагивая по направлению к Степаненковским баням. Дождь наподдал. Плечи актёров чуть потемнели от влаги, а поля шляп стали обвисать как ослиные уши.

– А вы знаете, мой друг, что раньше в мыльнях барышни совершали омовение вместе с мужчинами? Представьте себе на правах фантазии, – мечтательно сказал Крашенный.

– Какое непотребство, – возмутившись, отозвался Усатый, он натер на пятках порядочные мозоли и от того пребывал весьма не в духе – где ж вы вычитали подобную дрянь?

– Я бы поостерегся на вашем месте от столь горячих слов. Ни где-нибудь, а в Стоглаве. Извольте, – Крашенный воздел глаза к небу и слегка пошевелил губами припоминая, – «В банях мужи и жены и чернцы и черницы в одном месте моются без зазору». Мда.

– Преинтересно, – протянул Усатый, но опомнившись, добавил, – Варварство и низость. Только человеку вашего сорта пристало читать подобную литературу.

– Извольте не сортировать меня и не вешать бирок, я вам не галантерея, – нисколько не обидевшись, ответил Крашенный, – и литература эта, к вашему сведению, духовная. В ней отражены запретительные деяния собора. Он-то и посчитал такое положение дел неподобающим и наказал в дальнейшем делить помещения для женщин и мужчин. Мда.

Усатый на это ничего не ответил, увлекшись каким-то своими мыслями, он поглядывал на пасмурное небо. На устах его играла едва видимая улыбка.

Подшли к баням. Заведение оказалось добротным, и даже в известном смысле с архитектурным вызовом: в два этажа, с полукруглою аркою в центре крыши. Передний фасад здания был выкрашен зеленою краской, а входную дверь предварял аккуратно выбеленный четырехколонный портик с претензией на греческий штиль. Над входом висела вывеска:

«БАНИ Степаненковские. Парильня, квась, пиво»

– Вы только полюбуйтесь, – насмешливо сказал Усатый, – не бани, а античный театр!

– Если бы не вывеска, можно было б и оконфузиться, принять за ресторацию, – поддержал Крашенный, – впрочем, вперед, мой друг, иначе мы рискуем вымокнуть до нитки ещё до того, как проникнем в парную.

На кассе никого не оказалось, но тут же к артистам подошел лысый банщик азиатской наружности и услужливо спросил:

– Господа изволят купель обскую или высшей категории с известными дозволениями и услугою?

Ободняковы не до конца уразумели про «известные дозволения», и несколько обиделись, приняв это на свой счет, посему Усатый, дабы предупредить конфуз, язвительно ответил:

– Нам общую, мы не выше и не слишком пали, чтобы возводить себя в какую-либо особенную категорию.

– Как будет угодно господам. Какие предпочтения имеете по части напитков? Чаю, квасу, пива или что-то особенное?

Артисты не евшие с самого утра, сначала из-за известной «проманкировки», затем проигнорированного кабака, и, наконец, жадного зрителя изящных искусств, не прочь были и отведать чего-то существенного, но так как были личностями в известном смысле гордыми ответили:

– Водки, – подаренную фон Дерксеном бутылку Усатый заблаговременно припрятал за полу сюртука.

– Водка закончилась, – хитро улыбаясь, доложил банщик.

– В таком случае подайте уж чего-нибудь, – раздраженно отчеканил Усатый.

Банщик понимающе закивал и прокричал на тарабарщине в покачивающуюся штору:

– Аракы чугендерден куй стельгя!* (сноска: Поставь на стол свекольной браги (татарский))

Штора закачалась и издала какой-то невнятный звук, больше похожий на вздох человека, которому сунули кулаком под дых.

– Все будет в лучшем виде! Извольте не беспокоиться! – сказал банщик, провожая господ в гардеробную.

– Благодарим-с. Позвольте узнать, на правах праздного любопытства – отчего столько пафосу в вашем сооружении? Столько архитектурных нагромождений из-за одной только бани? – ехидно спросил Крашенный. Из-за голоду в нем появились желчь и острое желание поёрничать, – может быть нам стоило надеть фраки, дабы не фраппировать публики?

– Видимо у хозяина вашего заведения, врожденная тяга к искусству и утонченному вкусу. Как у гимназистки, – у Усатого зычно заклокотало в животе, будто поспевал огромный самовар на еловых шишках.

– Я поражен вашей проницательностью!

Азиат загадочно поклонился, по-восточному, (так не кланяются у нас, если бы иной дозволил себе так отрекомендоваться, то, пожалуй, его сочли бы за сумасшедшего, а этот отделил мудреное антраша, в самом что ни на есть фирменном штиле) и как ни в чем не бывало, ответил:

– Это очень таинственная и прекрасная, в своем роде история!

– Нисколько не сомневаемся, – продолжал в едком духе Крашенный, – тут у всех своя история, в кого не плюнь, так во что-нибудь таинственное и попадешь.

– Поверьте мне, государи, – продолжал азиат, не обращая внимания на язвительные намеки Крашеного – эта самая «оригиналь»!

Далее, не сбиваясь на ироничные ремарки наших артистов, азиат-банщик поведал такой анекдот:

Эта история, «ля мистикъ», приключилась не без романтического изюму. Муса Калдыбаевич Ыстыкбаев – азиатчик, дикарь и чингисхан, с малолетству страстно полюбил театр. Сначала смотрел на фотографические снимки известных артыстов, листал какие мог брошюрки, дни и ночи торчал при степных «акынах» – поэтах-певцах, а потом выдалась оказия – отец взял его с собою в город, по своим делам, да и показал спектакль. Ну, и погнали, как говорится, наши городских. Сам Муса происходил из высокого азиатского рода Ыстыкбаевых, – «биев», судей по-ихнему, богатых на востоке людей. Когда он повзрослел, его отправили постигать науки по юридической части. Отец, значить, хотел сделать его судьей и заместо себя поставить. Да только не суждено было сбыться чаяньям старика, Муса оказался баламутом и в судьи идти не желал, а хотел по театрам шляться и на сцене антраша отплясывать. Приехав в цивилизацию, назвалса он Михаилом Николаичем Степаненко, чтобы снискать себе славу человека светского, ну, и чтоб не задразнили Мусой-колбасой, у нас, сами знаете, наш народ востер на такие выдумки. Отучился, как водится, в гимназии, изловчился говорить по-нашему, чисто, разорвал все сношения с отцом, заручился кредитом в подозрительном банке (впрочем, тоже азиатском) и с головою окунулся в жизнь театральную, ибо не имел в голове никаких мыслей, кроме лицедейских.

Надо сказать, что дела у него пошли быстро, талантлив оказался Мишка до черту. Особливо ему удавались роли комедийные, кривлялся он мастерски. Публика его полюбила, на выступлениях рукоплескала и всячески боготворила. Особенно по душе он пришелся женской части зрителей, так что вниманием слабого полу Миша обделен не был. Но, как у нас говорят, «и на старуху бывает проруха», случилось так, что втюрился наш Миша в одну, с позволения сказать, оперную штучку с божественным голосом – Елену Уранову, бывшую в фаворитках у самой княгини N, очарованной ее ангельским сопрано. Вот Мишку и угораздило голову потерять, сам не свой он стал. Делать нечего, сердцу не прикажешь, набрался он смелости, sprыснулся одеколоном, придал своему лицу самое благородное выражение и открылся Урановой, представ пред ней со всеми своими чувствами. Оказалось, что сама Елена была не очень-то и супротив волокитства со знаменитой иноземщиной, ибо знала наизусть все его комедии и давно питала к нему тайную страсть.

Вот и понеслись Миша и Лена в диком ветре любви и страсти, обласканные славою и вниманием публики, но недолго им суждено было нежиться. Потому как появился «на сцене

жизни» некий граф Безбородко, жестокий и коварный сумасброд. Он страстно полюбил Елену, еще в бытность ее актрискою второго сорту. Безбородко совершенно обезумел на почве страсти. Предлагал ей несметные богатства и женитьбу, но оперная певичка отреклась, ибо верна была и любила одного лишь Мишу. Тогда разозленный граф решил отомстить любовникам, стал чинить препоны, злодейства. Захотел сжить их со свету! Какие только пакости он не творил! Натерпелась парочка через него таких бед, что и сказать страшно.

Но юная Елена Уранова благодаря своей смекалке изловчилась противостоять графу и обстряпать дело в самом благоприятном для себя и своего избранника виде. После одного из своих выступлений в театре Елизавета Уранова вдруг обрушилась на колени перед княгиней, своей покровительницей, и сунула ей в перчатку слезливую записку. В этом послании были описаны все интриги пакостника графа Безбородко и его подельничков, направленные супротив неё и Миши Степаненко. Княжна, как водится, пришла в ярость и решила оградить двух влюбленных от беды. В скором времени молодые обвенчались, а посаженной матерью на свадьбе была сама княжна. Вдобавок к солидному приданому она подарила своей любимице очень дорогое бриллиантовое украшение.

– Ну а при чем же тут архитекция ваших бань? – разозлясь от голода, перебил Крашенный.

Азиат выдержал театральную паузу, сунул за губу прессованный восточный табак, сплюнул в цветочный горшок чем-то зеленым и только тогда ответил:

– Через два года опосля всего этого Степаненко отравил ядом Уранову за измену с Безбородко, с которым она, как стало известно, сношалась в Индии. Миша забрал украшение, подаренное княжной, заложил в ломбарде, а на вырученные деньги построил сии бани, наилучшие, между прочим, в этих краях! А архитектура такая, потому что страсть его к театру так и не остыла.

– Ясно, – зло ответил Усатый и двинулся к коридору, ведущему в предбанник.

– Я бы на вашем месте и постеснялся бы, – поддержал Крашенный и зашагал следом.

– Ремонт делали уже за счет новой жены! – прокричал банщик, но артисты уже не слышали его.

Ободняковы вышли в длинный коридор, обитый необработанными сосновыми горбылями. Из приоткрытых дверей вдоль стен коридора на артистов с нескрываемым интересом поглядывали люди. По замусоленным фартукам Ободняковы догадались, что то была банная прислуга. Такому вниманию артисты не удивились, наверное из-за афиш, весь город уже знал о приезде театральных артистов.

Вдруг раздался приятный, чуть надтреснутый звук колокольчика. Кто-то трусливо взвизгнул: «Приехал!» Служки всполошились. Все двери как по команде распахнулись и слуги принялись суматошно бегать по коридору, кто во что горазд: один схватил куцую метлу, другой понёсся с чистым бельём, минуя Ободняковых, третий схватил высокую стопку тазов. Началась сутолока, артистов неуважительно пихали в бока и наступали им на ноги. Один из слуг оступился. Тазы посыпались на пол с таким оглушительным грохотом, что казалось наступила революция.

– Пожар у них что ли? – спросил Усатый поморщившись. Ему отдавили пальцы на правой ноге. Лопнула мозоля.

– Начальство подоспело, – предположил Крашенный

Усатый крепче прижал бутылку «Русаковской» к груди и они вошли в предбанник.

Внутри, раздевшись и выпив по рюмке водки, которая явственно пахла керосином, артисты покрылись потом и стали быстро пьянеть. Сказывались голодные желудки и нервозность минувшего дня. Из закусок им были предложены только кислая капуста и яблочное варенье – банщик сослался на пустые кладовые и конец месяца. Артисты смекнули, что азиат был уязвлен реакцией на свою историю и лгал из вредности: из-за полуоткрытых дверей было видно как служки таскали огромные блюда с дымящейся снедью. Артисты на это лишь гордо смолчали.

Так что подкрепиться Ободняковым не удалось. Над каждой дверью в бане висели деревянные таблички с различными народными изречениями. Надписи были разной направленности, но непременно все они были с банною тематикой. Имелись афоризмы назидательные – «Знай, баня – место есть благое, сюда входя, оставь плохое», и ласково-успокаивающие – «Пар костей не ломит, вон души не гонит», попадались выражения и духовного толку – «Баня все грехи смоеет» или «Дух парной, дух святой», имелись слова и о жизненных приоритетах – «В бане веник дороже денег», ну, и, конечно, же оздоровительной направленности – «Баня любую болезнь из тела гонит». Над головами же Ободняковых висели в основном гастрономические слоганы – «Хорошая банька лучше сытного обеда» и «Баня без пару, что щи без навару!».

Желудки артистов жгло. Крашеного стало слегка мутить от водки с капустою, но несмотря на это он все же прошел в парильню и забрался на верхнюю полку. Усатый же чувствовал головокружение, но последовав примеру товарища, съел ложку варенья и тоже полез на полку.

Народу в мыльне было, пожалуй, многовато. Все галдели, гремели тазами, толкались огромными блестящими от мыла ляжками, направо и налево как снаряды летели березовые листы, отделявшиеся от веника при соприкосновении с чьей-то железной спиной. Двое банщиков с ожесточенными потными лицами так лихо и озлобленно отхаживали вениками какого-то кучерявого малого, что казалось, они хотят запарить его вусмерть. «Вот те – Грибоедов! Вот те – горе от ума!» – почему-то приговаривали они, отделявая парнишку. Кучерявый же ничего, только покрякивал и улыбался. Артисты с тревогой наблюдали за этим зрелищем, предчувствуя что-то плохое. Однако жертва банщиков встала, и, пробежав несколько шагов, сиганула в огромную кадку с холодной водой, в которой еще плавали кусочки льда.

Меж тем, артистам становилось все дурнее. В глазах их двоилось, головы кружились, а сердца ухали так, словно хотели вылететь вон из глоток. Однако виду они не показывали, каждый старался не обронить своего лица перед товарищем.

Азиат банщик, который встречал их у входа, разбрасывал на камни какие-то благовония и поливал их подкрашенной водою. При этом рот и нос его были повязаны влажною тряпицей.

Двое бородатых мужчин мылись из одной шайки. Ухая и гогоча, с усердием терли они себя огромными пенными вехотками, словно поставив целью содрать с себя кожу. Не ясно было кто эти господа по роду своих занятий, однако судя по грязи, которая бурными ручьями стекала вместе с пеною по их телам, можно было сообразить, что они не иначе трубочисты или специалисты по угольному делу.

Моющиеся смотрели на артистов с интересом, словно ожидая от них чего-то необычного.

Крашенный, предчувствуя скорое падение в обморок, схватил свободный ковшик и полил свою голову ледяной водичкой. Усатый невнятным жестом попросил сделать то же самое и с его головою. Холодная вода подействовала, но ненадолго. Не сговариваясь, артисты сползли по полке вниз и вывалились в предбанник. Тут все поменялось: в бутылке почти не осталось водки, по столу была разбросана капуста, а скатерть вся была измызгана вареньем. В вещах Ободняковых кто-то тоже похозяйничал: валялись они на полу, мокрые и затоптанные и, кажется, исчезли новые ботинки Крашеного, на которые он держал пари.

Не находя в себе сил для возмущения и раздумий над случившейся неприятностью, артисты молча разлили остатки водки по рюмкам и выпили. В голове их помутилось, им чудилось, что все происходит не с ними вовсе, а с какими-то другими людьми очень на них похожими. Странные события минувшего дня, до того повлияли на обоих, что многие их действия – чудачковатые и безрассудные, происходили по какому-то наитию, словно во сне, когда разум не может повлиять на происходящее.

– Фьух, – тяжело выдохнул Крашенный, обращаясь к напарнику.

– Оох, – соглашаясь, ответил ему Усатый.

Посидев так некоторое время, артисты собрались с силами и решили, во что бы то ни стало, помыться. Все плыло перед их глазами, и они слабо понимали, что с ними происходит. Словно в полусне они зашли в общую мыльню и увидели, что весь многочисленный банный люд расселся на полках и во все глаза таращится на них. Сами же Ободняковы оказались посредине залы, освещенные ярким светом, с правой стороны от них стояла огромная кадка с ледяной водою, по левую же – валялся всякий банный снаряд: вехотки, поскребки, шайки. «Бутофория», мелькнуло в голове у Крашеного. «Реквизитора нужно будет алтынным наградить. Уважил», – запоздало решил Усатый. Сидящие на полках люди заволновались, по зале прошелся приглушенный гул, и вдруг раздались приветственные аплодисменты. Из-за спин артистов вышел упитанный азиат, совершенно голый, за исключением цилиндра на его голове. В руках он держал черную трость:

– Достопочтенная публика! Я рад приветствовать вас! – торжественным и густым поставленным голосом начал азиат, – Сегодня, я имею честь представить вашему суду и вниманию невероятное по силе и неподражаемое по исполнению, единственное в своем роде, магическое банное интермеццо от теперь уже постоянных и вечных звезд нашей сцены – господ... – азиат наклонился к артистам и спросил шепотом, – как вас там?

– Ободняковы, – ответили вялыми голосами артисты.

– Господ Обедняковых! Вашему вниманию интермеццо «Паротворец или банник – повелитель Пены и Зелена-Листа»! Премьера!

Снова раздались громкие аплодисменты, азиат вдруг исчез с импровизированной сцены, кто-то ударил чем-то металлическим в таз. Представление началось. Усатый, ведомый необъяснимым порывом, схватил шайку и сам того не ожидая, начал петь своим красивым голосом:

Он в сих уже парных стенах! О, скверная напасть!

Ты знаешь, банник, его величественну власть!

Желание мое как может совершиться,

Где портомойника мой слабый дух страшится?

Крашенный, пеня квелую мочалку и грозно хмуря брови, отвечал ему загробным басом:

– Мне строгая судьба повелевала так!

Но что великой страх?

Среди голых зрителей повисло напряжение, все остро почувствовали трагичность момента. В воцарившемся молчании публика с волнением стала ждать дальнейшего развития событий. Никто не шевелился в этой тишине, лишь было слышно как со лбов каплет пот, ударяясь о деревянные полки и полы.

Усатый нарушил тишину жалобным голоском:

Еще ли вопрошаешь?

Давно, уже давно ты все подробно знаешь,

Что мне с тех пор страшна понынь его гроза

Как дрожью тело пробирает при мысли о его глазах.

Неужто сгинуть мне в пару и чаде, средь мыла

Я не того желал, не для того дана мне сила!

Крашенный сделал решительный шаг к напарнику, глаза его горели гневным огнем, он с силой сжал мочалку, так, что из нее потекла густая грязноватая пена, и с вызовом пропел:

Как смеешь ты отречься?

Тебе бы смерти остеречься!

Измены подлой не потерпит банник!

Воды и пара названный избранник!

Усатый попятился, картинно оступился о валявшийся банный веник, и, распластавшись на полу, в мольбе протянул руки к Крашеному:

Сжался!

Не то мне грезилось, когда родился!
Еще водою жизни сполну не наполнился!

Крашенный демонически рассмеялся, поставил свою грязную ногу на плечо Усатому и грозно молвил:

Кто предал банника, тому воды не пить!

– он театрально обернул голову к зрителям и спросил:

Какая участь ждет его?

– Убииииить! – заревела толпа и принялась топтать ногами.

Так быть или не быть?

– еще громче рявкнул Крашенный.

– Убииииить предателя, убииииить! – кричала неистовая толпа.

Крашенный схватил протянутое кем-то бритвенное лезвие, на котором виднелись остатки пены и чьих-то волос и занес его над напарником.

IV

Когда небо стало заволакивать тяжёлыми тучами и ударила первая молния, расколовшая пополам одинокую сосенку, в верстах десяти от Чумщска, по извилистой горной тропе резво спустилась на проселочную дорогу весьма необычная карета, запряженная тремя черными рысаками. Их мощные бока лоснились от пота в свете полной луны, которую ещё не закрыли тучи, а металлические трензеля, сжатые крепкими ослепительно белыми на фоне ночи зубами коней, казалось, вот вот треснут и рассыплются как хрупкий императорский фарфор.

Кучер рысаков не жалел. Кнут взлетал так часто и так яростно, что чудилось будто гром – это не запоздалый глас молнии, а звук хлыста, рассекающего воздух. Дождь доселе ненавязчивый, еле-еле накапывающий, набирал силу, увереннее и наглее забарабанил по крыше экипажа. Вновь ударила молния, не далее чем в одной версте от кареты – в кукурузном поле, и озарила на мгновение экипаж. Скрюченный на козлах кучер в глухом капюшоне, напоминал не то гнома, не то карла в огромных кожаных сапогах, его голос, назначавшийся коням, потонул в раскатах грома, поэтому распознать, что он выкрикнул, кроме “АААГРЫЫЫ...”, было невозможно.

Карета тоже была сплошь чёрной, за исключением колёсных спиц, которые отливали в ночи не то ртутью, не то калёной сталью испанского стилета. На крыше экипажа перевязанная веревками стояла кладь разных мастей: чемоданы большие и малые, сумки круглые и прямоугольные, совсем уж необычных форм саквояжи и баулы – одно их роднило: чёрный цвет. Ровно посередине крыши торчал металлический шпиль, какой можно увидеть на зданиях соборов или на городских ратушах. На задней стенке кареты был прилажен странный механизм: шестерни, коленчатые валы, замысловатые поршни – всё это походило на часы со сложным устройством или на внутренности современной паровой машины. Однако механизм бездействовал, во время езды не дрогнула ни одна шестерёнка, не пошевелился ни один поршень.

Меж тем дождь набрал силу. Теперь он стоял сплошной стеной и если бы дорога не была прямой и изредка на озарялась молниями, то не известно как бы кучер держался пути в этой тьме. На удивление экипаж не мотало в стороны, а лошади не сбивали шаг, словно бы давно привыкшие к такого рода ночным и непогодным путешествиям. С кожаных пологов кареты, закрывающих оконные отверстия, ручьями стекала вода, дорогу начало развозить.

Дорога, предгорья и поля вновь озарились светом, будто какой-то фотографист нажал на пистонный механизм и поджёг магниевую вспышку, чтобы запечатлеть эту пугающую картинку и повесить её в рамочке на постоялом дворе с нехорошей репутацией. Освещенное молнией кукурузное поле походило на разбушевавшееся море, на секунду взгляд кучера выхватил возвышающуюся над горизонтом колыхающихся стеблей человеческую фигуру, раскинувшую руки в стороны, словно радушный хозяин, встречающий порывы ветра и проливной дождь.

Однако через полверсты, когда карета поравнялась с фигурой, она обернулась чучелом в лохмотьях.

Следы подков, оставляемые рысиками, в мгновение ока наполнялись мутной водой. Копыта вязли в проселочной грязи. Колёса экипажа зарюхивались в жижу по самую ось. Несмотря на увещевания хлыстом, лошади не могли ехать быстрее и скорее всего остановились бы совсем. Однако вновь ударила молния. Аккурат в торчащий на крыше экипажа шпиль. Раздался ужасный электрический звук, во все стороны посыпались искры. Испуганные кони, встав на дыбы, понесли карету вперёд, хоть и давалось им это с невероятным трудом. Окна кареты озарились и сквозь кожаные пологи, прорисовался контур головы пассажира. Высокий цилиндр и цепочка пенсне свисавшая сбоку.

Удар молнии не прошёл бесследно – механизм на задней стороне кареты ожил: загорелись причудливые лампочки, шестерни, цепляясь друг за друга зубцами, приводили в движение коленчатые валы, валы заставляли шевелиться поршни. Колёса экипажа стали вращаться быстрее и быстрее, выползая из грязи, в которой застряли.

Наконец кони нащупали твёрдую почву – началась подъездная щебенчатая дорога к городу. Экипаж пошёл живее, кучер ободряюще прикрикнул на рысаков и те добавили ходу.

В Чумщске необычной кареты никто не заметил – непогода и поздний час лучшие друзья тех, кто предпочитает перемещаться инкогнито.

Карета проехала по центральной улице, мимо спящего в будке полицейского. Около фонтана, укрывшись афишей, анонсировавшей скорую постановку “Инсекта”, – лежал в луже местный сумасшедший, который встречал Ободняковых в первую минуту их прибытия в Чумщск. Видимо, услышав стук колёс по булыжной мостовой, он пробудился ото сна. Квёлый, он устался на карету, раскрыл от изумления рот и указав пальцем на экипаж, пытался что-то вымолвить, но вместо этого издал лишь приглушенное мычание.

Карета остановилась аккуратно рядом с сумасшедшим. Из кожаного полога высунулась рука в тонкой зеленоватой перчатке, обрамлённая манжетом белоснежной рубашки с запонками, на которых значились заковыристые вензеля. Пальцы в перчатке разжались и перед сумасшедшим, прямо на мостовую, упала серебряная монета.

– Боженька в машине! – едва слышно пробормотал юродивый и схватив монету, метнулся прочь от фонтана.

– К баням, – властным голосом велел пассажир экипажа и карета тронулась.

▼

Очнулись артисты на каких-то темных задворках. Стояла ночь, было слышно как где-то перебрехивались собаки, и кто-то не стесняясь в выражениях хаял извозчика, заломившего цену. Одежда некрасивою кучей валялась рядом. Оглядев себя, Ободяковы сообразили, что валяются в грязи около огромной лужи, абсолютно нагие и прикрыты лишь желтыми от времени полотенцами. Головы артистов трещали так, что казалось, вот-вот разлетятся на мелкие кусочки. Усатый попробовал оглядеться. Неосторожные движения отозвались болью в висках и он жалобно застонал.

– О, очухались, судари! – раздался из темноты чей-то голос, – Я уж думал не придете в себя. Боялся, что дурман навсегда рассудку лишит.

Рассмотреть в такой темени говорившего было делом затруднительным, поэтому Усатый, дабы показать, что они могут оказать препятствие негодяю, просипел в темноту самому не до конца понятное:

– Мы тоже сумеем.

Вышло у него неубедительно и даже жалко, не ясно из-за этого ли или из-за чего другого, но из темноты под свет желтого фонаря вышел говоривший. Артисты жмурились от головной боли и от свету, но наконец, углядели незнакомца. Перед ними стоял молодой человек, они признали в нем кучерявого, которого банщики отделявали вениками.

– Что с нами приключилось? – слабым голосом спросил Крашенный.

– Неужто не помните? Вы спектакль демонстрировали и даже снискали некоторую славу у местной публики, – сказал кучерявый и рассмеялся, – Однако, дражайшие, я бы не советовал вам больше показываться в этом притоне. Степаненко, или как вы уже поняли, Ыстыкбаев, скор на расправу с беглыми артистами.

– Простите, сударь, но не могли бы вы рассказать яснее что произошло? И почему вы нас называете беглыми? – спросил Усатый и поняв, что он в некотором роде неглиже, нащупал в куче портки и стал натягивать их на себя.

– Степаненковские бани известны на всю округу. И снискали славу они из-за своих дурных дел. Неужто еще не знаете? Это сектантский притон. Степаненко – владелец бань, совершенно помешался на театре, отравил жену и прибрал ее драгоценности. Хотел собственный театр справить, да денег хватило только на здание. А ведь надо актерам платить, декорацию и костюмы справлять, а на что? Вот он решил свою театру в баню переделать и заманивать приезжих, окурять их дурманными грибами (он эту науку выращивания еще в Индии освоил, когда бегал вместе с женою от её сбрендившего поклонника) и заставлял играть в своих спектаклях. У него вся труппа состоит из умалишенных, совсем они от белены недочеловеками сделались. Все в городе об этом знают. Считайте, вам несказанно повезло, что я рядом оказался. Обычно те, кто в бани попадает, на век там же и остаются.

– Неужто нас отравили? Какой кошмар! Яд был в водке? – ужаснулся Усатый. Он уже успел облачиться в костюм, но вид имел весьма запущенный.

– Нет. Водка как раз-таки была чиста, хотя и не самого лучшего, надо сказать, качества, – кучерявый поморщился, будто хлебнул скипидару. – “Русаковскую” у нас только завзятые пьяницы берут, потому как самая дешёвая. Но водка есть водка. Это из-за неё вы так долго и продержались, разбивает она грибной дурман. Ведь водка в бане – товар не ходовой, обычно все кваском да пивом разговляются. А вы, вишь, догадались. Я когда вас в парильне увидел, сразу понял, что вас оттуда уже не выпустят. Я-то человек бывалый, дыханьку задержу, попарюсь, в водичку ледяную окунусь да выду вон, чтобы духом парильным не дышать. Видели, небось, как банщик травы на камни клал?

– Да, припоминаю, – сказал Крашенный. Он тоже кое-как натянул на себя свой грязный гардероб и поэтому стал говорить увереннее.

– Вот самое оно и есть. Среди этих трав и споры грибные, от жару они распространяются по парильне. Вы их вдохнули – вот у вас набекрень мозга и съехала. Я ведь в бани эти затем и хожу, чтобы у одурманенных поживиться добром. Каюсь, стащил у вас ботиночки. Но не по своей вине, богом клянусь! Барин мой дюже нуждается. Человек он гордый, по миру с протянутой рукой не пойдет, лучше голодной смертию помрет, чем опустится. А я не могу его оставить, хоть он и не раз сам говорил: «Оставь меня, Сенечка, друг мой сердешный, не смогу я уже за доброту твою рассчитаться. Беги, душенька моя, к вольной жизни». А я не могу. Вот и промышляю на кушанья барину да себе. Вот и докатился до воровства. А с другой стороны в том, что я у степаненковских краду – греха большого нет, все равно после того, как они в бани попадают, одёжа им не нужна, голые завсегда ходют.

– А почему же вы нас не оставили? – спросил недоверчиво Усатый.

– И сам не знаю. Взыграла совесть моя, когда вас увидел. Да еще я ж в одежке вашей афишку нашел театральную, ну и подумал, что негоже таким людям позволять сгинуть в секте. Глотнул я водочки вашей, чтобы не задуреть, да и повытаскивал вас за шкирки. Не хотели пушать, насилиу отбился от азиатов.

– Видали мы как ты «глотнул», – недовольно произнес Крашенный, но вполголоса, почти про себя, поэтому кучерявый его не услышал.

– А куда же смотрят власти? Неужели они не могут остановить это негодяйство? – спросил Усатый.

– Известно куда смотрят. Правда проводили они проверки, полицию отправляли. Не нашли оне ничего. То ли заплатил им Степаненко, то ли хитро прячет свои дела лихие... Неизвестно. Только наказывать его, получается, не за что. И история, которую я вам поведал, многие считают выдумкою зевак. Только я-то знаю как оно на самом деле обстоит, потому и выгасил вас.

– Ах, добрый человек. Я не знаю, как и благодарить вас! – сердечно воскликнул Усатый, – Позвольте узнать имя нашего спасителя!

– Сенька я.

После долгих расшаркиваний со стороны артистов, долгих велеречивых признаний и лобызаний с неожиданным спасителем, было решено нанести ранним утром визит Сенькиному барину. Узнав адрес, Ободняковы долго и страстно прощались с избавителем, обещая отблагодарить чем-то существенным и, наконец, двинулись к своему номеру.

Луна глядела с небес на артистов немигающим оком, заходились в истерике сверчки, подпевая оркестре, гремевшей из какого-то ресторана, извозчики дремали в своих бричках, изредка вздрагивая приснившимся, черт его разберет, что им там снилось!

– Ты же меня чуть бритвою к праотцам не отправил! – с негодованием вдруг воскликнул Усатый.

Крашенный отряхнул с брюк пыль, пригладил потной ладонью волосы и ответил:

– Да.

VI

Покуда артисты пребывают в царствии морфеевом, беспокойно ворочаясь в постелях от посягательств мелких зверей, кусающих их подмышки, пока скидывают они с себя все муки и треволения этого дня, пока сетуют на происки судьбины и темные человеческие помыслы, а ленивый Филимон, стоивший Крашеному новых ботинок, допивает из припрятанной полу-бутылки, стоит упомянуть об одном событии, произошедшем накануне. События довольно мелком, однако ж весомом, которое объясняет все странности, впоследствии произошедшие с артистами в Чумщске.

Глава города Чумщска проснулся в превосходном настроении, снилась ему несусветная дичь, однако ж не без романтизму. От ночных видений пробудившийся городничий улыбнулся и, причмокивая губами, слегка зашелся румянцем, но поглядев на необъятную спину жены вдруг посерьезнел и даже поморщился. Потянувшись и сунув ноги в огромные тапки, глава (далее станем называть его Трофимом Афанасьичем Шубиным) с трудом проглотил огромных размеров фиолетовую пилюлю и, запив ее теплой водою, проснулся окончательно и побрел вон из спальни.

Не без помощи слуги справившись с гардеробом, Шубин прошел в столовую и отзавтракал тремя крепко посоленными яйцами, сваренными вкрутую, кашею с хлебом, блинами со сметаною и вареньем, остатками вчерашней говядины и, наконец, смочил это все большим стаканом молока, наотрез отказавшись от чаю. Слуга, удивившись такому небывалому прежде делу, испуганно выбежал во двор и наказал извозчику не трясти и языком не трепать, ибо хозяин не в духе, да и мало ли чего.

Однако Трофим Афанасьич пребывал в настроении благостном. В прихожей, не без удовольствия оглядев со всех сторон в зеркале свою дородную, но не лишенную благородства фигуру, он пришел к выводу, что весьма недурен собою, и приказал подавать коляску.

Доехав до управления, Трофим Афанасьич благодушно отпустил изрядно взволнованного наставлениями слуги извозчика, сказав, что изволит ехать только к вечеру, после службы.

На проходной справился о ночном бдении у вытянувшегося в струнку охранника. Тот доложил, слегка заикаясь, что «происшествий не случилось, и ничего непотребного замечено не было». Шубин на это чинно покивал и отправился в кабинет, у дверей которого уже выстроилась очередь из чиновников, мелких служек и секретарей с казенными бумагами, жалобами

и прошениями, которые требовали срочной подписи главы города. Оглядев собравшихся, и коротко ответив на приветствия, стараясь не смотреть никому в глаза, Трофим Афанасьич споро проскользнул в кабинет.

Когда Шубин уселся в кресло, вошел облезлого вида секретарь и стал долго и нудно перечислять список неотложных дел, имена просителей, предстоящие необходимые визиты, доклады от начальников, кляузы и доносы. Тянулось это долго, Трофим Афанасьич не стыдясь зевал во весь рот и рисовал пером на бумаге смешные рожицы. Наконец, секретарь кончил и вдруг как-то странно замялся на месте, словно было еще что-то такое, о чем он хотел и не хотел говорить. Трофим Афанасьич за долгие годы службы умел раскусывать такое поведение своих подопечных как семечки, и потому наскрозь видел подобного рода увертки.

– Чего еще у тебя, Никифор? – осведомился он, пристально глядя в глаза секретарю.

– Ничего-с, – попробовал отвернуть Никифор.

– Не финти! Знаешь ведь, что не люблю. Сказывай.

Секретарь стал переминаться с ноги на ногу и нервно дергать за уголок какого-то прошения, от чего кончик бумаги сделался серым. Городничий понял, что его подчиненный не мыл рук.

– Себе же хуже сделаешь, коли не скажешь. Говори немедля, – брезгливо прикрикнул Трофим Афанасьич.

Он не любил своего секретаря. В первую очередь, за его безалаберность и нечистоплотность. Все то у Никифора было вверх дном, все неопрятно: казенная утварь, перья, чернильницы и бумаги, даже и десятилетней давности, собирали кучами пыль на шкапах, сейфах, валялись под ногами и кое-где даже были попорчены крысами.

На секретарском столе творился такой беспорядок, что зазорно было глядеть: яблочные огрызки, подернутые плесенью, колбасные шкурки, нестиранные носовые платки, черные от чаю невымытые стаканы, невесть откуда взявшиеся велосипедные гудки и цепи, в общем, казалось, что на рабочем месте Никифора когда-то случилась большая катастрофия или, пожалуй, потерпел крушение торговый караван.

Вторая слабая черта секретаря заключалась в страсти к мелкой поживе. Шубин знал, что прежде чем какой-нибудь проситель попадал к нему, обязан он был принести в жертву Никифору какое-нибудь дарение. Тут уж зависело от вкусов самого секретаря и положения просящего в обществе: с не шибко богатых взымался провиант – сало, бакалея, балыки, наливки, которые, между прочим, в большинстве своем оставались там же, загнивая и пованивая в дополнении общего пейзажу. С тех, кто побогаче, бралось деньгою и существенными подношениями: платками, контрамарками, заморским табаком и бижутерией. Однако Никифор не совсем чтобы и наглел – с уважаемых людей и уж очень богатых господ ничего не брал, понимая, что «не положено» и это вотчина начальства.

Причина же, по которой Трофим Афанасьич держал при себе столь сомнительного секретаря, заключалась в том, что Никифор, несмотря на все его вольности, был предан, исполнителен, и как говорилось «хоть человек и своеобразный, но уж точно не выдаст». Шубин мог не беспокоиться о своем отсутствии на службе, зная, что Никифор выдумает так, что никто и не догадается. Не боялся Трофим Афанасьич и пригубить из полуштофа, иногда даже и до помертвения, зная, что секретарь погрузит его невидимого для посторонних глаз в коляску, довезет до дому, да еще и в кровать уложит. Уверен был Шубин и в том, что Никифор, несмотря на все свои недостатки, ни за что не упустит важных писем сверху, не забудет отослать что нужно и куда полагается. В общем, Никифор был человеком надежным во всех смыслах и гнать такого от себя – только навредить собственному благополучию.

Вот и сейчас городничий твердо знал, что мнется секретарь неспроста, важное слово за собой имел, никак иначе. Ради пустяковины вроде прошений не стал бы Никифор разыгрывать такой спектакль.

– Докладывай! Неужто ревизия намечается? – властно спросил Шубин.

– Бог миловал. У нас в городе все тихо, благодаря вас. Порядки соблюдаются, никто не безобразит, буква закону почитается. И наверху все об этом знают, знамо, каждый месяц отчитываемся и подкрепляем вещественно, чего ж нас проверять? – пространно ответил секретарь, продолжая мять бумаги. Прощение в его руках сделалось совсем черным, как копирка. Трофим Афанасьич отвел глаза.

– Никак бучу затеяли горожане? Опять налогами недовольны? – спросил Шубин нервно.

– Помилуйте, Трофим Афанасьич, на что ж народу быть недовольными? Все то у нас чинно и мирно. Полиция жалование получает, да и перепадает иногда и лишнее-с, да и вообще – все службы свое дело знают, держут в руках ситуацию. Газеты анекдоты печатают, вот ныне ребусы пошли. Презанимательная штука, – Никифор пожат губами, словно проверяя слова на вкус, и продолжил, – театр работает, праздники справляем на площади как положено, кабаков полно и всяких других развлечений, вона и артисты приезжать не гнушаются – двусмысленно сделал паузу секретарь.

– Да не юли ты, окаянный, сказывай, когда спрашивают! – наконец, не выдержал Шубин, – что ж я тебе гадалка, предсказывать что ты на хвосте мне принес! Или мне до ночи твои ребусы, прости-господи, разгадывать?

Никифор немножко помялся, поглядывая на городничего, словно прикидывая, можно ли доверить ему столь важное дело, а потом, решившись выпалил:

– Телеграмма получена, сегодняшним числом, адресат пожелал остаться неизвестным.

– Так подавай ее сюда! – возмутился Шубин.

Секретарь достал откуда-то из-за пазухи засаленный клочок бумаги, покрытый жирными пятнами, и протянул городничему. От документа раздался густой запах копчений, табаку и еще невесть чего. Трофим Афанасьевич поморщился, но телеграмму взял, хотя и несколько брезгливо. Поглядев на написанное он понял, почему секретарь медлил с докладом: содержимое письма было весьма необычным, даже и совершенно выходящим за всякие рамки. За долгую свою службу Шубин и припомнить не мог, чтобы кто-то сталкивался с подобным. Прочитав, он несколько одеревенело посмотрел на секретаря, налил из графина в стакан, хлебнул и перечитал еще раз.

В телеграмме, сухим, как для нее и полагается, языком было написано следующее.

СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ ВИЗИТОМ ДВА МИЛЛИОНЩИКА ФИЛАНТРОПА ТЧК В Г ЧУМЩСК С БЛАГОТВОРИТ ЦЕЛЮ ТЧК ИНКОГНИТО ПОД ЛИЧИНОЮ ТЕАТР АРТИСТОВ БР ОБОДНЯКОВЫ ТЧК

Шубин в десятый раз пробежал глазами по телеграмме, но снова ничего сообразить не сумел.

– Так чего же? – глухим голосом спросил он у секретаря.

– Ничего-с. А вот все-таки едут. И неизвестно, – самодовольно сказал секретарь.

– Чего же неизвестно? – взволнованно спросил Шубин.

– Неизвестно куда пожелают нанести визит-с, – ответил секретарь.

– А нам-то что? Не ревизоры ведь, – наконец, придя в себя облегченно сказал глава.

– Господь уберег, Трофим Афанасьич, – перекрестился Никифор, – свое дело справляем. А только пользу-то можно было б и извлечь. Известно, городу помощь не лишняя будет, – лукаво сказал секретарь.

– Говори чего удумал.

– Мы-то что, своим скудным умом... А вот только если с вашего позволения, – начал интересничать Никифор.

– Сказывай-сказывай, шельма. Знаю ведь, что об себе в первую очередь думал.

Секретарь выразил своим лицом оскорбленность, отвернулся к окну, выпучив при этом глаза, однако ж через мгновение оживленно ответил:

– Рутинное ли дело – два миллионщика? И написано ведь – с благотворительною целью. Значит одарять будут!

– Как это? – удивленно спросил Шубин.

– Известно как – средствами. Другое дело как подгадать к чему у них сердце лежит...

– Не тяни, сволочь! – стукнул по столу Трофим Афанасьич.

– В телеграмме сказано, что приедут под личиною театральных артистов, так, стало быть, увлечены театром. Вот и смекайте – куды они денежку пожертвуют в первую очередь, – уверенно отвечал Никифор.

– Да неужто в театр?! – выпучил глаза Шубин.

– Как пить дать.

– Да мы ж там только в прошлом годе ремонт сделали! – ахнул городничий. – Ведь блестит и сияет все! Новехонькое! Ах, фон Дерксен, ах, подлец, подложил свинью! Друг называется, ах, немчура, удружил! «Выдели Трофочка на ремонт, по-дружески, сыплется все!». Выделил на свою голову, отремонтировал, по доброте душевной. Ну, Генрих, ну, язва! Я тоже хорош – не мог годик подождать? Ах, беда, Никифор, как же быть? Небось не дадут? – сокрушался Трофим Афанасьич.

Секретарь выжидательно молчал. Шубин делал просящие глаза, словно говоря «Никифушка, выручай! На тебя, миленький вся надежда!». Наконец, секретарь, убедившись, что теперь он хозяин положения и что только от него зависит предстоящее дело, закрыл входную дверь на ключ, сел на стул и начал излагать свою стратегию сурьезным, деловым тоном.

Говорил он долго, городничий его не перебивал, лишь кивал головою, да изредка приговаривал:

– Обстряпаем. Продавим.

По истечении получаса, Шубин приказал Никифору никого к себе не пускать, сослаться на годовую отчетность (хотя сдадена она была еще два месяца назад) и в срочном порядке пригласить к себе Генриха фон Дерксена.

– Только надобно не показывать виду о том, что знаем, кто они такие есть. У миллионщиков свои причуды. Хотят инкогнито – устроим им инкогнито. Обидятся что мы их раскусили и ничего не дадут. Поэтому пушай артистами и остаются, не нужно сюсюкаться с ними. Естественность – вот что любят люди искусства! И вот еще что, – пригрозил Трофим Афанасьич, – чтобы об этой телеграмме ни одна живая душа!

Он не договорил, лишь многозначительно взглянул на Никифора.

– Что ж мы не понимаем? – обиженно отвечал секретарь, – тайны держать мы умеем.

Городничий одобряюще кивнул, не догадываясь что Никифор солгал.

VII

Как уже говорилось, сон наших господ отнюдь не был покойным. Добавим, не был он и долгим и прервался стихийно прямо на рассвете, едва забрезжило над окружавшими город синими вершинами утреннее солнце. Если говорить о причинах сих неудобств, то постельные клопы, что в любой уездной гостинице наравне с постояльцами пребывают на хозяйских правах – это бы еще полбеда. Ведь в большинстве подобных заведений для их отпугивания отыщутся свежая пижма, либо багульник или на худой конец метелки сушеной полыни. В конце концов, голодному клопу можно противопоставить ловкое заворачивание в одеяло (включая и голову): пусть тяжело дышится и человек зачастую просыпается поутру с лицом багровым и мокрым от поту, словно после нещадной парилки – однако ж это премного лучше, чем беспрестанные, оскорбительные и, чего уж там, весьма болезненные укусы мелкого насекомого, от которых по пробуждении остаются повсюду цепочки зудящих волдырей.

Совсем другое дело – укусы душевные, которым ни трав, ни заворачиваний не противуставишь. И всевозможных букашек, способных вконец испортить сон, здесь куда как предостаточно. Предположим, человека атакуют кровопийцы, имя которым Зависть и Тщеславие.

Подавленный талантами, успехами и вящей популярностью условного Кобалевича, условный Станкевич ложится в свою скромную постель – и тут спектакль начинается. Станкевичу бы возблагодарить Господа за день минувший да приняться считать овец, готовясь со спокойным сердцем перейти в благодатное царство сна. Ан нет, Станкевич считает другое, а именно – достоинства Кобалевича, сделавшегося ему вмиг злейшим врагом. Пересчитав по пяти раз оные достоинства, Станкевич начинает сравнивать их со своими и непременно уходит с этой злосчастной арифметикой в крепкий минус. В воспаленном сознании пришедшего в отчаяние Станкевича явственно проносятся картины, живописующие несомненный успех Кобалевича: внимание барышень (в том числе и кокетки Выпритской), рукоплесканья залов, благосклонность критиков, да и попросту сытая еда и роскошный ночлег. «Всего этого у меня нет! – внутренне стенает Станкевич. – Всё это не моё, а Кобалевича! Кобалевич насельник вершин, а я не более чем пещерный червь! Притом учились мы вместе и оканчивали один драматический класс. Отчего так? Отчего такая несправедливость?» И эти стенанья в конце концов наносят душе Станкевича такие пробоины, такие муки, что тот не выдерживает, с утробным стоном вскакивает и, наскоро облачившись в платье, выхлестывается из квартиры наружу только для того, чтобы нанять первого попавшегося извозчика и нести во весь опор по пустым ночным улицам, оглашая их постыдными для всякого мужчины завистливыми рыданиями.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.